

Пříлоhy:

Пříлоha č. 1 - Text originálu

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО» из дневников 1939–1949 годов

Забвение истории своей Родины, страданий своей Родины, своих лучших болей и радостей, — связанных с ней испытаний души — тягчайший грех. Недаром в древности говорили: — Если забуду тебя, Иерусалиме...[2]

О. Берггольц. Из подготовительных записей ко второй части «Дневных звезд»
15/VII-39[3]

13 декабря 1938 г. меня арестовали, 3 июля 39-го, вечером, я была освобождена и вышла из тюрьмы. Я провела в тюрьме 171 день. Я страстно мечтала о том, как я буду плакать, увидев Колю[4] и родных, — и не пролила ни одной слезы. Я нередко думала и чувствовала там, что выйду на волю только затем, чтобы умереть, — но я живу... подкрасила брови, мажу губы...

Я еще не вернулась оттуда, очевидно, еще не поняла всего...

4/IX-39

Все еще почти каждую ночь снятся тюрьма, арест, допросы. (Отнесла стихи в «Известия», составила книжку стихов. «Да, взлета, колодца — все еще нет, да и будет ли он у меня?»)[5]

21/IX-39

Тупость проходит понемногу-понемногу. Но все еще пресно. Хочется абсолютного одиночества, потому что в нем можно хотя бы думать, но донимают приятельницы, надо же поговорить с ними, хоть чувствую от этого свою неискренность и сухость. Много по ночам с Колей о жизни, о религии, о нашем строе. Интересные и горькие мысли. Это, вероятно, приходит человеческая зрелость, ну, а потом, что? Не знаю. Пока все, практически, остается так же незыблемо, как и было. И уже, очевидно, не сможет стать иным или иначе.

А мне не страшно, никаких мыслей; как было страшно, скажем, три года назад... Нет, не должен человек бояться никакой своей мысли. Только тут абсолютная свобода. Если же и там ее нет — значит, ничего нет.

15/X-39

Да, я еще не вернулась оттуда. Оставаясь одна дома, я вслух говорю со следователем, с комиссией, с людьми — о тюрьме, о постыдном, состряпанном «моем деле». Все отзывается тюрьмой — стихи, события, разговоры с людьми. Она стоит между мной и жизнью...

6/XI-39, 2 ч. ночи

Завтра 22 года Октябрьской революции.

Я приветствую вас, Мария Рымшан, Ольга Абрамова, Настасья Мироновна Плотникова, Елена Иванова, Женя Шабурашвили[6] — коммунистки,

беспартийные честные товарищи, сидящие или не сидящие в камерах Арсеналки и Шпалерки!

Я с вами сейчас, родные мои товарищи. Я рыдаю о вас, я верю вам, я жажду вашей свободы, восстановления вашей чести.

Товарищи, родные мои, прекрасные мои товарищи, все, кого знаю и кого не знаю, все, кто ни за что томится сейчас в тюрьмах в Советской стране, о, если б знать, что это мое обращение могло помочь вам, отдала бы вам всю жизнь!

Я с вами, товарищи, я с вами, я с вами, бойцы интернациональных бригад, томящиеся в концлагерях Франции. Я с вами, все честные и простые люди: вас миллионы, тех, кто честно и прямо любит Родину, с поднятой головой и открытыми устами!

Я буду полна вами завтра, послезавтра, всегда, я буду прямой и честной, я буду до гроба верна мечте нашей — великому делу Ленина, как бы трудна она ни была! Уже нет обратного пути.

Я с вами, товарищи, я с вами!

14/ХП-39

Ровно год тому назад я была арестована.

Ощущение тюрьмы сейчас, после 5 месяцев воли, возникает во мне острее, чем в первое время после освобождения. И именно ощущение, т. е. не только реально чувствую, обоняю этот тяжкий запах коридора из тюрьмы в «Б<ольшой> дом», запах рыбы, сырости, лука, стук шагов по лестнице, но и то смешанное состояние посторонней заинтересованности, страха, неестественного спокойствия и обреченности, безвыходности, с которыми шла на допросы.

...Да, но зачем все-таки подвергали меня все той же муке?! Зачем были те дикие, полубредовые желто-красные ночи (желтый свет лампочек, красные матрасы, стук в отопительных трубах, голуби)?

И это безмерное, безграничное, дикое человеческое страдание, в котором тонуло мое страдание, расширяясь до безумия, до раздавленности?

Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят: «Живи». Произошло то же, что в щемящей щедринской сказке «Приключения с Крамольниковым»: «Он понял, что все оставалось по-прежнему, — только душа у него „запечатана“».

«Но когда он хотел продолжать начатую работу, то сразу убедился, что, действительно, ему предстоит провести черту и под нею написать: „не нужно“».

Со мною это и так, и все-таки не так. Вот за это-то «не так» я и хватаюсь. Действительно, как же я буду писать роман о нашем поколении, о становлении его сознания к моменту его зрелости, роман о субъекте эпохи, о субъекте его сознания, когда это сознание после тюрьмы потерпело такие погромы, вышло из дотюремного равновесия?

Все или почти все до тюрьмы казалось ясным: все было уложено в стройную систему, а теперь все перебуравлено, многое поменялось местами, многое переоценено.

А может быть, это и есть настоящая зрелость? Может быть, и не нужна «система»?

Может быть, раздробленность такая появилась оттого, что слишком стройной была система, слишком неприкосновенны фетиши и сама система была системой фетишей?

Остается путь, остается история, остается наша молодость, наши искания, наша вера — все остается. Ну, а вывод-то какой мне сделать — в романе, чему учить людей-то? Экклезиастическому «так было — так будет»? Просто дать ряд картин, цепь размышлений по разным поводам — и всё? А общая идея? А как же писать о субъекте сознания, выключив самое главное — последние два-три года, т. е. тюрьму? Вот и выходит, что «без тюрьмы» нельзя и с «тюрьмой» нельзя... уже по причинам «запеча-

танности». А последние годы — самое сильное, самое трагичное, что прожило наше поколение, я же не только по себе это знаю.

Ну ладно. Кончу — обязательно к Новому году, кончу правку истории и возьмусь только за художественное, и буду писать так, как будто бы решительно все и обо всем можно писать, с открытой душой, сорвав «печати», безжалостно и прямо, буду пока писать то, что обдумала до тюрьмы (включая человечность, приобретенную мною там, и осмысляя наш путь по-взрослому), а там видно будет, к концу...

Да, но вот год назад я сначала сидела в «медвежатнике» у мерзкого Кудрявцева[7], потом металась по матрасу возле уборной — раздавленная, заплеванная, оторванная от близких, с реальной перспективой каторги и тюрьмы на много лет, а сегодня я дома, за своим столом, рядом с Колей (это главное!), и я — уважаемый человек на заводе, пропагандист, я буду делать доклад о Сталине, я печатаюсь, меня как будто уважает и любит много людей... (Это хорошо все, но не главное.)

Значит, я победитель?

Ровно год назад К<удрявцев> говорил мне: «Ваши преступления, вы — преступница, двурушница, враг народа, вам никогда не увидеть мужа, ни дома, вас уже давно выгнали из партии».

Сегодня — все наоборот.

Значит, я — победитель? О нет!

Нет, хотя я не хочу признать себя и побежденной. Еще, все еще не хочу. Я внутренне раздавлена тюрьмой, такого признания я не могу сделать, несмотря на все бремя в душе и сознании.

Я покалечена, сильно покалечена, но, кажется, не раздавлена. Вот на днях меня будут утверждать на парткоме. О, как страстно хочется мне сказать: «Родные товарищи! Я видела, слышала и пережила в тюрьме то-то, то-то и то-то... Это не изменило моего отношения к нашим идеям и к нашей родине и партии. По-прежнему, и даже в еще большей мере, готова я отдать им все свои силы. Но все, что открылось мне, болит и горит во мне, как отравы. Мне непонятно то-то и то-то. Мне отвратительно то-то. Такие-то вот вещи кажутся мне неправильными. Вот я вся перед вами — со всей болью, со всеми недоумениями своими». Но этого делать нельзя. Это было бы идеализмом. Что они объяснят? Будет — исключение, осуждение <...> и, вероятнее всего, опять тюрьма. О, как это страшно и больно! Я говорю себе — нет, довольно, довольно! Пора перестать мучиться химерами! Кому это нужно, твои лирические признания о боли, недоумениях и прочее? Ведь Программу и Устав душою разделяешь полностью? Ведь все поручения стремишься выполнить как можно лучше? Последствия тюремного отравления не сказываются на твоей практической работе, наоборот, я стараюсь быть еще добросовестнее, чем раньше. (Не оттого ли, что стремлюсь заглушить отравление?) Так в чем же дело?

23/ХП-39

...Степка не шевелится. Это удручает меня. Неужели опять — авария? Я знаю, что это почти безрассудно заводить сейчас ребенка: война, болезнь Коли, материальная необеспеченность, а сколько будет забот, и тревог, и быта! Но я рвусь к этому как к спасательному кругу: мне кажется, что тот, кто должен был появиться, как-то примирит нас с жизнью, наполнит ее важным, действительным смыслом.

Я говорю о действительном, вечном, не зависимом от «вражды или близости с Наполеоном»[8], смысле.

Недействительный смысл есть, но этого для жизни мало. Вот 21 декабря я выступала на собрании о Сталине, выступала неплохо, потому что готовилась к докладу очень добросовестно, потом прочитала свой стишок о Сталине. Гром аплодисментов, все были очень довольны и т. д. Ровно год назад я читала этот стишок в тюрьме, будучи оплеванной, низведенной на самую низшую ступень, на самое дно нашего общества, на степень «врага народа» ...Как этот слабый стишок там любили! Плакали, когда я дочитывала до конца, и сама я так волновалась, когда читала... Пока не стала думать: «Твоя вина!» Но даже думая так о нем, не могла без волнения читать, я доклады делала с волнением, искренне. Где, когда, почему мы выскочили из колеи?

25/ХП-39

Вчера читала материалы газетные о Сталине. Очень гнусная статья П. Тычины[9] в «Литературной газете». А мой этот самый стишок там отказались печатать. Очевидно, как пояснил Володя Л.[10], — тоже не принявший стишка, — «не масштабно, не соответствует величию Сталина». Вот как раз и соответствует величию, еще большему, может быть, чем реальное величие, — величию людского представления о нем.

И вдруг мне захотелось написать Сталину об этом: о том, как относятся к нему в советской тюрьме. О, каким сиянием было там окружено его имя! Он был такой надеждой там для людей, это даже тогда, когда я начала думать, что «он все знает», что это «его вина», — я не позволяла себе отнимать у людей эту единственную надежду. Впрочем, как ни дико, я сама до сих пор не уверена, что «все знает», а чаще думаю, что он «не все знает». И вот начала письмо с тем, чтобы написать ему о М. Римшан, Плотниковой, Ивановой, Абрамовой, Женьке Шабурашвили, — это честные, преданные люди, глубоко любящие его, а до сих пор — в тюрьме. И когда подошла к этому разделу — потухла, что ли. Додик писал Сталину о своем брате, о том, как его пытали, — ответа не получил. Римшан писал тому же Сталину о своей жене — ответа не получил. Помощи не получил. Ну, для чего же писать мне? Утешить самое себя сознанием своего благородства?

Потому что мысль о том, что я не написала до сих пор Сталину, мучит меня, как содеянная подлость, как соучастие в преступлении... Но я знаю — это бесполезно. Я имею массу примеров, когда люди тыкались во все места, и вплоть до Сталина, а «оно» шло само по себе — «идёт, идёт и придёт».

В общем, «псих ненормальный, не забывай, что ты в тюрьме...».

Боже мой! Лечиться, что ли? Ведь скоро 6 месяцев, как я на воле, а нет дня, нет ночи, чтобы я не думала о тюрьме, чтобы я не видела ее во сне... Да нет, это психоз, это, наверное, самая настоящая болезнь...

25/І-40

...Машу Римшан осудили на 5 лет... Все статьи сняли, осудили как «социально опасную». Это человек, отдавший всю жизнь партии. Мотивировок к осуждению нет даже юридически сколько-нибудь основательных. Произвол, беззаконие, и всё.

О, как подло.

Даже тот факт, что продолжают выпускать людей, не может снизить, убавить подлости осуждения Маши и ей подобных. Тем более должны были освободить. Не вся правда хуже, чем неправда. Не вся правда — двойной обман.

«Нами человечество протрезвляется, мы — его похмелье, мы — его боль родов», — писал Герцен[11] в 1848 г. Может быть, время поставить под этими словами сегодняшнюю дату? Какой-то маленький светлый кусочек внутри, остаток безмерной

веры — «Ключок рассвета мешает мне сделать это? Или трусость? Или инстинкт самосохранения?».

1/III-40

...Читаю Герцена с томящей завистью к людям его типа и XIX века. О, как они были свободны. Как широки и чисты!

А я даже здесь, в дневнике (стыдно признаться), не записываю моих размышлений только потому, что мысль: «Это будет читать следователь» преследует меня. Тайна записанного сердца нарушена. Даже в эту область, в мысли, в душу ворвались, нагадили, взломали, подобрали отмычки и фомки. Сам комиссар Гоглидзе[12] искал за словами о Кирове[13], полными скорби и любви к Родине и Кирову, обоснований для обвинения меня в терроре. О, падло, падло.

А крючки, вопросы и подчеркивания в дневниках, которые сделал следователь? На самых высоких, самых горьких страницах!

Так и видно, как выкапывали «материал» для идиотских и позорных обвинений.

И вот эти измученные, загаженные дневники лежат у меня в столе. И что бы я ни писала теперь, так и кажется мне — вот это и это будет подчеркнуто тем же красным карандашом, со специальной целью — обвинить, очернить и законопатить, — и я спешу приписать что-нибудь объяснительное — «для следователя» — или руки опускаю, и молчишь, не предашь бумаге самое наболеее, самое неясное для себя...

О, позор, позор, позор!.. И мне, и тебе! Нет! Не думать об этом! Но большей несвободы еще не было...

Писать свое — пьесу, рассказы...

Не думать, не думать об этом хотя бы пока... Все равно никуда не уйдешь от этих мыслей...

25/XII-40

Сегодня в клубе Эренбург[14], живший во Франции, в Париже — в дни его и ее разгрома, читал отрывки из романа «Падение Парижа» и стихи.

Отрывки — до жалости плохи и равнодушны. Стихи академичны, полумертвы (чем-то похожи на мои), но есть хорошие, с настоящей болью.

Я тихо и бесстрастно ужасалась: как далеко может идти профессионализм, что человек может СЕЙЧАС писать о разгроме франции! Это так же дико, как если б художник, рисуя увечного, пытался приклеить на картину куски живого мяса. Но даже это не удалось ему: рассудочный сентиментализм. Нехорошо.

На вечер пришли Таня и Юра Прендели[15], Таня мне — все равно, а Юра занимает, и даже специфически. Уже некоторое время идет подводная игра, которая может закончиться бурным объятьем, если я того пожелаю.

Но я, по всем данным, не пожелаю этого. Юра — «не наш». Кроме того, меня раздражает его ущемленность по отношению ко мне и Кольке; в этом какая-то неискренность, искусственность отношения. Короче, они были там, и я отправила их домой, а сама навязалась на столик к Германам, жестоко презирая себя за это. Тем более, что Юра Г.[16] написал беспринципную, омерзительную во всех отношениях книжку о Дзержинском[17].

Он спекулянт, он деляга, нельзя так писать, и литературно это бесконечно плохо. Мне надо было сказать ему это, а не втираться к нему на столик.

Потом подсел Зонин[18] с пошлым ухажерством, это было на глазах у Юрки, мне было неудобно, хотя и мелко-лестно (чего мне надо и на что я надеюсь?!), и на вопрос Зонина я ответила, что да, читала его книгу и она мне очень понравилась, но книжки я почти не читала, только начало.

Потом я провожала Зонина до места его ночевки, были обрывки серьезного разговора (ох, сяду я за них, ни за что сяду!) и пошлого флирта на словах...

Все, что сберечь мне удалось,

Надежды веры и любви,

В одну молитву все слилось:

Переживи, переживи!^[19]

Зачем этот размен?! Это чисто внешне, души я ничуть не отдаю, но, м. б., и отдаю, и теряю.

Вот с Лидой Ч<уковской>^[20] сегодня был хороший разговор. И я постараюсь написать для хрестоматии хорошие рассказы.

Безвременье души, — вообще.

Была в Москве. Встречалась с Сережей^[21]. Это ничего не принесло на этот раз, кроме опустошения и тупой боли. Очевидно, потому что он меня вовсе не любит, даже не влюблен, а просто так.

13/III-41

Иудушка Головлева^[22] говорит накануне своего конца: «Но куда же всё делось? Где всё?»

Страшный, наивный этот вопрос все чаще, все больше звучит во мне. Оглядываюсь на прошедшие годы и ужасаюсь. Не только за свою жизнь. Где всё? Куда оно проваливается, в чем исчезает и, главное, — зачем, зачем?!

Перечитываю сейчас стихи Бориса Корнилова^[23], — сколько в них силы и таланта! Он был моим первым мужчиной, моим мужем и отцом моего первого ребенка, Ирки^[24].

Завтра ровно пять лет со дня ее смерти.

Борис в концлагере, а может быть, погиб.

Превосходное стихотворение «Соловьяха» было посвящено им Зинаиде Райх^[25], он читал его у Мейерхольда^[26]. Мейерхольд, гениальный режиссер, был арестован и погиб в тюрьме. Райх зверски, загадочно убили через несколько дней после ареста Мейерхольда и хоронили тишком, и за гробом ее шел один человек.

Смерть, тюрьма, тюрьма, смерть...

На бездарном «Дон-Кихоте» в Александринке видела сегодня Виктора Яблонского^[27], с которым связано ощущение целого периода в жизни — знакомство с Горьким^[28], ЛАПШ, история с Авербахом^[29]. Горький умер. Л. Авербах расстрелян. Миша Чумандрин^[30] погиб на финской войне. Володя Эрлих^[31] в концлагере. Юрий Либединский^[32] разошелся с Муськой. Виктор очень постарел, — значит, и я так же страшно постарела...

Где всё?! Где всё?..

А Ирка, Ирка, господи... А эпилепсия Коли с 32 года? Где всё и зачем всё? И что же вместо того, что было когда-то? Какой наполненной жизнью жила я в 31 году. Сами заблуждения мои были от страстного, безусловного доверия к жизни и людям... Сколько силы было, веры, бесстрашия. Была Ирка, был здоровый Коля, было ощущение неисчерпанности, бесконечности жизни, была нерушимая убежденность в деле, в правильности всего, что делал... Где же, где всё?

26/III-41

Сегодня, в первый раз за довольно долгое время, у меня не тюкает в голове. Это громадное достижение. Уже не помню, но чуть ли не с десятого числа началась у меня отчаянная невралгия, такая, что я света не взвидела. Глотала всякую дрянь, и сейчас еще ем на ночь люминал и от дикой головной боли, от лекарств совершенно отупела. Все мысли и чувства ленивы и притуплены, все равно. Нет, еще рановато для маразма. Еще я должна написать роман, и выпустить хорошую книгу стихов, и увидеть на экране свой «Первороссийск»[33], а потом уж пускай.

Сейчас я в Доме творчества, в Детском[34]. В этом доме я дважды умирала: первый раз, когда пришла просить у Толстого[35] машину, чтоб увезти Ирку в больницу. Я сказала Толстой[36]: «Моя дочь умирает, дайте мне машину» — и поняла, что она действительно умирает... Со смертью ее началась моя смерть, тем более что Я, я виновата в смерти Ирочки. И весь мир стал смертен.

Второй раз из этого дома — меня увезли в тюрьму, и с нее началась вторая смерть — смерть «общей идеи» во мне. Я не живу; я живу вспышками, путем непрерывных коротких замыканий, но это не жизнь. Я живу по инерции, хватаюсь, цепляюсь за что-то: и за работу, и за пижаму, но это непрерывное бегство от самой себя.

Доктор сказал, что мне надо пойти к психиатрам. Зачем? Что они могут восстановить во мне? Я с удовольствием скажу им, что мне нечем жить, потому что насущнейшая моя потребность говорить людям именно об этом, и это тоже бегство, т. к. я слишком слаба, чтоб таскать все это в самой себе, но чем, чем они мне могут помочь? Какую новую опору дадут они мне?

Я круглый лишенец[37]. У меня отнято все, отнято самое драгоценное: доверие к Советской власти, больше, даже к идее ее... «Как и жить и плакать без тебя?!»[38]

Я думаю, что ничто и никто не поможет людишкам, одинаково подлым и одинаково прекрасным во все времена и эпохи. Движение идет по замкнутому кругу, и человек с его разумом бессилен. У меня отнята даже возможность «обмена света и добра» с людьми. Все лучшее, что я делаю, не допускается до людей, — хотя бы книжка стихов, хотя бы Первороссийск. Мне скажут — так было всегда. Но в том-то и дело, что я выросла в убеждении (о, как оно было наивно), что «у нас не как всегда»...

Я задыхаюсь в том всеобволакивающем, душном тумане лицемерия и лжи, который царит в нашей жизни, и это-то и называют социализмом!!

Я вышла из тюрьмы со смутной, зыбкой, но страстной надеждой, что «всё объяснят», что то чудовищное преступление перед народом, которое было совершено в 35–38 гг., будет хоть как-то объяснено, хоть какие-то гарантии люди получат, что этого больше не будет, что освободят если не всех, то хоть очень многих, я жила эти полтора года в какой-то надежде на исправление этого преступления, на поворот к народу — но нет... Все темнее и страшней, и теперь я убеждаюсь, что больше ждать нечего. Вот в чем разница... В июле 39 года еще чего-то ждала, теперь чувствую, что ждать больше нечего — от государства. Я все ругаю себя разными словами — «маловерие», «пороху не хватило», «испугалась трудностей», — но нет! Не трудностей я боюсь, а лжи, удушающей лжи, которая ползет из всех пор...

Что же может тут сделать психоневролог? Одурить меня процедурами так, чтоб ложь эта, и гибель идеалов, и ужасный процесс перерождения стал мне безразличен? Но это последняя смерть, и уже настоящая... Лучше мучительное это безвременье, лучше горький этот кризис, буду думать, что кризис, и буду бесстрашно идти на него...

1/IV-41

Может быть, мне просто нравится так страдать, нравится эта тога «гражданской скорби»? Я просто нравлюсь себе в ней? Но разве я одна так терзаюсь? Все, кого я знаю, особенно коммунисты — Галка[39], Ирэна[40], Мара[41], — живут с таким же трудом,

как я. Вчера цензура сняла из верстки «Лит. современника» мое стихотворение «Гост». Оно кончалось:

Так выше бокал новогодний,
Наш первый поднимем смелей
За тех, кто не с нами сегодня,
За всех запоздавших друзей...

Очень корявое, оно было дорого мне по внутренней своей мысли — хоть слабый сигнал «им»: «мы помним о вас, мы ждем вас», хоть слабый знак приветия. Они — т. е. цензора — догадались. Но формально это причина — «за тех, кто не с нами, — значит, за тех, кто против нас? Значит, за наших врагов?» Суки! Они не имеют права запрещать, — здесь нет ни малейших формальных оснований. Хорошо, я напишу: «за тех, кто далеко сегодня...», и если он (Троицкий[42]) опять зарежет, — полезу на рожон вплоть до горкома. Буду говорить о «травле писателя-коммуниста», о том, что Троицкий не имеет права «пересматривать решение гос. органов в отношении меня...».

С трусами и двурушниками надо говорить на их языке, и — главное — никаких формальных оснований для трактовки моих стихов так, как это трактует цензура, нет. Они не смеют ставить мои стихи в связь с моим пребыванием в тюрьме! Ведь же «открытые» стихи о тюрьме я и не показываю никому. Я вся разворошена этим. Это запрещение — точь-в-точь как лязг тюремного ключа там, напоминание о том, что ты — невольник.

Лязгнуло... И вот от этого лязгнувшего звука опять вышла из равновесия, опять впереди — бесперспективность, тьма...

Надо закончить эту муру — «Ваня и поганка», она даст мне наконец возможность вплотную сесть за роман, а может быть (страшно мечтаю об этом), — съездить на Алтай, по маршруту первороссиян, — м. б., буду писать о них повесть.

Написала стихотворение, которого сама боюсь[43].

13/IV-41

Вот я и опять в Ленинграде. Да и давно уже, седьмого числа. Может быть, все-таки обратиться к психоневрологу?

Вот, отправлен сценарий, денег есть еще на два месяца, даже если еще тысячу истрочу, надо браться за роман, и вдруг меня одолел страх: мне кажется, что я уже ничего не могу, душевные силы иссякли, да и просто так — трясушка, мерзейшая трясушка одолевает...

Все вроде как куда спешу, все вроде как страх одолевает, невнятный, глупый. Или это все та же утрата общей идеи дает себя знать? Но Коля дал верный совет: писать «без идеи», записывать, как жили, и идея возникнет. Да, писать — вот так мы жили, вот так мечтали, страдали, радовались, отдавали себя. И... ну, — и? И? «И ничего не вышло; они все передрались, ничего не нашли и вернулись обратно», — как сказал один мальчик в ответ на предложенный мною сюжет, как дети отправились искать живую воду. Нет, нет; так рано еще говорить, не надо так думать! Может быть, еще и выйдет. Может быть, этот тяжелый период пройдет, там вздохнем, после войны.

Все-таки пока не воюем, и за то правительству спасибо. Будем верны знаменам. С верностью знаменам и писать. Но высылка Ирэны? Ведь ее все ж таки высылают, доламывают ее жизнь, доканывают прекрасного, верного человека, ничто, ничто не

помогло ей, никакие хлопоты, никакие заступничества... Зачем? Разве это хоть кому-нибудь нужно?

Нет! Как только я прикасаюсь к вопросам этого круга, так перестаю дышать.

20/IV-41

Явная дегенерация: куда-то засунула записную книжечку с телефонами Москвы и не могу найти, а отлично помню, что еще вчера держала ее в руках и даже думала: «кладу сюда — и забуду...» Вот глупо.

Колька как долго не идет от Молчановых, наверное, сердится на меня за то, что пришла вчера от Анфисы пьяная. А когда он так пыжится, я совершенно теряю способности к деятельности и жизни.

У меня — серия подозрительных удач. Принят сценарий «Ваня и поганка», говорят, что очень там всем понравился, еду завтра по вызову «Мосфильма» в Москву для доработки сценария. Получу, видимо, вторые 25 % и затем, довольно быстро, остальные 50.

Но главное — на «Ленфильме» вдруг зажгла «Первороссийском» Мессер[44] и Кару[45], завтра они посылают либретто в комитет с просьбой разрешить заключить со мной договор. Конечно, мне надо располагаться на то, что либретто утверждено не будет и придется послать его Сталину... Но оно все равно пойдет через Ц. К., так что инстанций, где его могут задержать, — очень много.

Вероятностей, что сценарий будет убит, — больше, чем того, что он пройдет. Но хорошо хоть то, что хоть где-то пробита стенка. Ах, как славно было бы, если б получилась к юбилею картина! Это был бы мой подарок к 25-летию Советской власти, дар нашим знаменам, нашей Мечте, нашим идеалам — храму оставленному и кумиру поверженному[46], которые еще драгоценней именно потому, что они оставлены и повержены. Не нами, о, не нами!

Но неужели действительно оставлены и повержены?

Не перехватываю ли я в этом отношении?.. Может быть, это только такой временный жуткий период?

Успехи немцев подавляют меня. Падение — Югославии, на днях несомненное падение Греции.

Неужели прожить и умереть при торжестве фашистского режима?! Страшно, жалко!..

Кроме того, завтра, наверное, будет разговор у Герасимова [47] относительно заключения предварительного договора на «Заставу»[48]. Вообще, благоразумнее не замечать.

5/V-41

Идут очень пустые, нерабочие и даже безмысленные дни. Была в Москве по вызову «Мосфильма» насчет «Вани и поганки». У «Вани и поганки» — огромный успех. Птушко[49], шумный и неумный пошляк в быту, в восторге, рвется ставить, все хвалят, сценарий едет пока без задержки. Это почти оскорбляет меня, потому что «Первороссийск» уже зарезан в кинокомитете на первой же инстанции. («Ленфильм» послал с просьбой о разреш.) Некто Маневич сказал: «Слишком огненная тема. Она на острие — так остра. Политически неверно ставить картину о коммуне, в то время как коммуна — осужденная форма сельского хозяйства. Т. Сталин на XVII съезде осудил ее», — и т. д.

Ну что ж, я ожидала именно этого — отказа. Правда, я думала, что мотивировка будет иная — там что-нибудь насчет того, что много народу гибнет и т. д. О, какая непроходимая тупость и косность! Какое отношение к искусству имеет то, что «коммуна — осужденная форма»? Да нет, просто невысказано в таких условиях существовать искусству — жгучему, искреннему, правдивому. Авария с «Первороссийском»

причинила мне не острую, но тупую боль, — точно вновь ударили по больному, избитому месту, уже «привыкшему» к ударам...

А-ах, как тупо и как, в сущности, страшно! Ну, что ж поделаешь?

Пошлю в Секретариат Сталину, все равно, терять нечего, не посадят же меня за это...

Видела, разумеется, Сережу. Вот еще одна утрата. Не надо было мне вовсе встречаться с ним после Коктебеля, какое бы чудесное, горьковатое, ясное воспоминание осталось. Но нет еще этой мудрости, а есть тупая жадность. И вот. — Бог с ним.

Мне не жаль ни нежности, ни дум, которые посвятила ему. Он неплохой мальчишка, но — все. Внутренний «роман» с ним — окончен. Да и внешний — тоже.

Надо приняться за роман[50], силы уходят. Вот напишу заявление Ирэне и примусь. Ирэну все еще томят и терзают. А брат ее Миши[51], освобожденный из польской тюрьмы в сентябре 39 года, написал о Мише такое заявление, что, читая его, чувствуешь, будто тебе на сердце капают раскаленным свинцом. И больше того: он собрал о Мише справки тамошних людей, знавших его по подпольной работе в Польше, и это тоже, как капли свинца в душу. Хороший, видно, человек был этот Миша, если о нем, осужденном Советской властью, так пишут люди! И они — смелые, хорошие люди! О, дай им всем Бог, дай им Бог силы вынести все испытания, которые им еще, наверное, предстоят... Ну, надо написать заявление...

12/V-41

Сегодня позвонила мне Наташа, жена Марка Симховича, человека, с которым у меня был хороший роман в Гаграх в 1934 году. Я до сих пор помню, как, подъезжая к Гаграм, первый раз в жизни увидела море, и все внутри просияло и затрепетало от радости. И эта радость длилась весь месяц отдыха, я бежала к морю, как на любовное свидание, а Марк был очень влюблен, дарил мне розы, мы читали стихи, философствовали, целовались.

После Гагр я его больше не видела, не переписывалась с ним. В 39 году Наташа, с которой он познакомил меня в Москве, позвонила мне, сказала, что Марк умер от дифтерита и что она очень хочет видеть меня. Встреча состоялась только сегодня. Оказывается, Марк (по ее словам) относился ко мне серьезнее, чем я думала. В дневнике у него было записано, что я — самое сильное его увлечение, сразу вслед за Наташей, которую он очень любил.

А у нее теперь с Марком так, как у меня с Ирккой: все еще не верит, все еще не понимает, как это вышло, чудовищность, бессмысленность утраты подводит к безумию, к прозрению ТУДА... Она ищет его в жизни, и я для нее была — частица его.

Да, да, — ИЩЕТ его, — может быть, он еще где-то здесь, может быть, его еще можно увидеть, догнать, вернуть, — как же так, вот Ольга Берггольц жива, а Марка нет? Не может быть, тут что-то не так. Мурашка Чумандрин[52], ровесница и подружка Ирки, жива и учится в школе, но ведь и Ирка могла бы жить и учиться, как Мурашка, почему же этого нет?! Непонятно, несправедливо. О, знаю, знаю, все знаю, больше, чем можно сказать...

Она говорила: «Я многих слов ваших не запомнила, я только слушала ваш голос, смотрела на вас, и всё». Ограбленный человек. В 37–38 году она б месяцев сидела в тюрьме, ее там били страшно, сломали даже бедро. Она говорила: «Но знаете, самое ужасное, когда плюют в лицо. Это хуже, чем побои». Зачем ей плевали в лицо?! Разве когда-нибудь она забудет это, сотрет с души, с лица? Сколько у нас ОСКОРБЛЕННЫХ, сколько! Через два месяца после того, как она вышла из тюрьмы, после такой отсидки — умер Марк, который был для нее всем. Нет, бог не бог, а какая-то злобная сила, смеющаяся и издевающаяся над людьми, наверное, есть...

А что я могла сказать ей? Она спрашивала: «Ну что же делать, с чего начать-то, как жить?» А я отвечала: «Я тоже так всех спрашиваю, я сама не знаю. Живу вот...» И еще

умничала чего-то, рассказывала о мелочах, своих дурацких стычках с цензурой... Но что сказать, что дать ограбленному, оскорбленному человеку?

Сам я и беден и мал,

Сам я смертельно устал, —

Чем помогу?![53]

Стоит она у меня перед глазами, — чувствую я за всем этим больше, чем она говорила, — ну что, что вынуть, вырвать из себя — и подарить?! Обманываю я их всех, приходящих ко мне, чем-то, а чем — сама понять не могу. Если ей выговориться надо было, — я слушала. Все мои умные слова — ей ничто. Но успокаиваю себя тем, что по себе знаю: в горе и в смятенье человеку не столько другого, сколько себя, и, м. б., только себя, слушать надо. Другой человек тебя терпеливо выслушает, скажет самое обычное: «Да, да, понимаю», и вот уж кажется тебе, что это самый хороший человек на свете...

Надо больше слушать людей. Я слушала, а потом о себе барабанить стала. Мелко! Я о себе слышала последнее время столько восторженных отзывов — и об «уме», и о «красоте», и о «душе», и так мне это нравится (ужас-то!), что уж иногда чувствую, что должна поддерживать свое звание и, говоря с людьми, обращающимися ко мне, больше думать о себе, чем о них. Это бесконечно мизерно и отвратительно!.. Что делать с этим? А на самом деле я внутренне обеднела, очень мало читаю, размениваюсь на судьбу, хвастаюсь и треплюсь...

Но что же делать с Наташей? Что же дать ей, — не для того, чтоб самой думать о себе хорошо, а для нее, для нее! Она просила прислать ей моих стихов. Пошлю побыстрее — об Ирке, из «Испытания»[54]. Там ведь есть подлинное.

Это жалкое внимание ее тронет, чуть-чуть, м. б., согреет, м. б., беднейшие мои строчки что-нибудь скажут ей... Больше-то ничего не могу... Где-то есть еще хороший портретик Марка — м. б., послать?

Надо, вообще говоря, ответить Гуторовичу, Кужелеву, написать Лене Польскому, — я сухой, черствый человек, дерьмо, что так долго не пишу им. Володьке Дм.[55] еще надо написать...

20/V-41

О, бедный homo sapiens!

Существованье — бред![56]

Томление.

Все-таки придется, наверно, обратиться к психоневрологу, своими силами не справиться с «трясучкой»... Если это даже и распушенность, то явно болезненная.

Но помню: довольно заказов, «Ваней и поганок», песенок к дурацким фильмам. За дело жизни, за роман, удачей или неудачей он кончится. У меня нет мудрости для него.

Сегодня почитала кое-что из Герцена. Боже мой, для того чтобы писать то, что я задумала, то, что мы все пережили, надо обладать герценовской широтой, глубиной и свободой мысли и надо иметь точку зрения... У меня же ее сейчас нет. Надо умудриться, надо разобраться в каше жизни — и до нас, и при нас, и видеть вперед, а у меня туман перед глазами...

О, бедный homo sapiens!

Одна эта европейская война чего стоит. Какой крах человеческих усилий: был пример жуткой бойни 14–18 гг., был образец — революция 17 г. и Сов. Союз, была могучая, страшная пацифистская литература, была широкая коммунистическая пропаганда — и ничего! Ничего и ничто не предотвратило бойни еще более страшной, омерзительной и преступной, чем в 14–18 гг. А мы говорили — «пролетариат не допустит», «начало новой мировой войны — начало мировой революции»... Ею пока и не пахнет! И если б Гитлер повел их всех на нас — они бы пошли и громили бы нас! Западный пролетариат работает на войну и воюет так, что диву даешься.

Хорошо, воюют «всего» два года... «Всего» несколько миллионов людей уложили. «А потом они одумаются». Значит, мало было жертв 14–18 годов? Значит, нужны еще горы и горы трупов, чтоб заставить трудящихся одуматься и повернуть оружие против тех, кто их посылает убивать друг друга, чтоб понять, что им не просто воевать. Все еще мало, все еще мало?!

Опять, как уже во многом, разъехалась наша теория с практикой, и очень обидно за ее «необязательность». А главное — люди гибнут... Теория наша не учитывала этого. Для нее людей нет. Для нее люди, как для Ивана Карамазова[57], существуют на отдалении... Безумие и безумие творится в мире, и ничто от людей не зависит.

Příloha č. 2 - Vysvětlivky

1.

Publikuje se podle: Zvezda, 1990, č. 5–6; Znamja, 1991, č 3; almanach „Aprel“, 1991/IV; Berggolc O. Vstreča. SPb., 2003.

2.

Pokud zapomenu, Jeruzaléme, na tebe,
pak ať mi uschne pravice!
Ať mi i k patru jazyk přiroste,
pokud přestanu myslet na tebe,
pokud mi Jeruzalém nebude nade vše,
nade všechny mé rozkoše!“

Bible : překlad 21. století. Starý zákon, Kniha Žalmů, Žalm 137Vyd. 1. Praha: Biblion, 2009. 676 s. ISBN 978-80-87282-02-1.

3.

Dne 13. prosince byl vydán zatykač. Zatčena jsem byla 14. prosince (viz druhý vlepený dokument).

4.

N. S. Molčanov (1910–1942) – muž Olgy Berggolcové (1930–1942). Mnohá díla O. B. jsou věnována právě jemu (podrobnější informace viz v publikaci N. A. Prozorovové, str. 257 stávajícího vyd.).

5.

Tato sbírka básní nebyla vydána.

6.

Spoluvězeňkyně O. B.

7.

Vyšetřovatel Ivan Kudrjavcev, vedl první výsledk O. B. Viz záznamy vlepené na druhé stránce.

8.

Nepřesný citát z románu Vojna a mír L. N. Tolstého.

9.

P. G. Tyčina (1891–1967) – ukrajinský básník. Žij, jak Slunce, Staline: Z jubilejních článků k šedesátinám vůdce//Literaturnaja gazeta, 1939, 21. prosince.

10.

V. A. Lugovskoj (1901–1957) – ruský sovětský básník.

11.

A. I. Gercen (1812–1870) – filozof, publicista a spisovatel. Uvedený citát z díla O tom, co bylo, Praha: Svoboda, 1949–1951.

12.

S. A. Goglidze (1901–1953) – vedoucí správy NKVD Leningradského okruhu v letech 1938–1941. Organizátor masových represí. Zastřelen.

13.

S. M. Kirov (1886–1934) – od roku 1926 první tajemník Leningradského oblastního výboru VKS(b) [Všesvazová komunistická strana (bolševiků)], člen Politbyra ÚV VKS(b). Zavražděn L. Nikolajevem ve Smolném v Petrohradě výstřelem do týlu.

14.

I. G. Erenburg (1891–1967) – básník, prozaik, publicista, autor knihy se symbolickým názvem Tání (1954–1956) a literárních memoárů Lidé, roky, život (1961–1965).

15.

J. A. Prendel – psychiatr. Táňa – jeho žena. Přátelé O. B.

16.

J. P. German (1910–1967) – spisovatel, dramatik, blízký přítel O. B., která mu věnovala báseň Feodosija.

17.

F. E. Dzeržinskij (1877–1926) – předseda čcky, později OGPU (1917–1926), tj. Celoruské mimořádné komise pro boj s kontrarevolucí a sabotážemi při Radě lidových komisařů RSFSR, přejmenované později na Spojenou státní polickou správu při Radě lidových komisařů SSSR. Jeden z organizátorů „rudého teroru“ (1918–1922). J. German o něm napsal cyklus povídek „Železný Felix“.

18.

A. I. Zonin (1901–1962) – prozaik (námořnická tematika) a kritik. V roce 1950 byl odsouzen na 10 let v táborech. V roce 1955 rehabilitován. Druhý manžel V. Ketlinské.

19.

Báseň F. I. Ťutčeva.

20.

L. K. Čukovská (1907–1996) – dcera K. I. Čukovského, redaktorka a spisovatelka, psala memoáry. Hlavní díla: novela Sof'ja Petrovna a Zapiski ob Anne Achmatovoj.

21.

S. S. Narovčatov (1919–1981) – básník. Je mu věnována báseň Ne syna, ne mladšego brata...

22.

Hrdina románu M. J. Saltykova-Ščedrina Golovlevské panstvo, jehož jméno se stalo apelativem.

23.

B. P. Kornilov (1907–1938) – básník, autor poem Sol', Moja Afrika, nedopsané poemy Ljusja aj. První muž O. B., adresát několika jejich básní. Autor básně Pesnja o vstrečnom (1932) aj. V roce 1937 byl zatčen a zastřelen. Zhudebněné písně po jeho smrti zlidověly.

24.

Dcera B. Kornilova a O. Berggolcové (1928–1936).

25.

Z. N. Rajchová (1894–1939) – známá herečka, první žena S. Jesenina, žena Vs. Mejercholda, po jeho zatčení brutálně zavražděna.

26.

Vs. E. Mejerchold (1874–1940) – režisér, herec, divadelní reformátor. Roku 1939 neprávem odsouzen a zastřelen.

27.

V. P. Jablonskij (1897–1941/42?/) – herec a režisér divadla MCHAT II.

28.

Maxim Gorkij (Peškov A. M.) (1868–1936) – spisovatel, publicista, veřejný činitel.

29.

L. L. Averbach (1903–1937) – generální tajemník RAPP (Ruské asociace proletářských spisovatelů) v letech 1928–1932. Blízký známý O. B. V dubnu 1937 byl prohlášen za nepřítele lidu a zastřelen.

30.

M. F. Čumandrin (1895–1940) – spisovatel, zahynul v zimní sovětsko-finské válce.

31.

V. I. Erlich (1902–1937) – básník, přítel S. Jesenina, neprávem odsouzen.

32.

J. N. Libedinskij (1898–1959) – spisovatel, činitel RAPP, první muž M. F. Berggolcové (1912–2003), herečky. Rozvedli se v roce 1939.

33.

K této době se časově vztahuje prvotní záměr poemy Pervorossijsk.

34.

Do roku 1918 známo jako Carské Selo a od roku 1937 jako Puškin. Dům spisovatelů se nacházel v Proletářské ulici (Proletarskaja ulica), číslo 6 (dnes Cerkovnaja ul.).

35.

A. N. Tolstoj (1883–1945) – hrabě, sovětský spisovatel, laureát tří Stalinových cen.

36.

L. I. Tolstá (1906–1982) – žena (čtvrtá) A. N. Tolstého.

37.

„Lišenec“ – občan SSSR, zbavený svých volebních a dalších společenských práv.

38.

Verš z básně A. Bloka – Podzimní svoboda.

39.

G. G. Plenkinová (1911–?) – kamarádka O. B. Znalý se od roku 1932, kdy O. B. nastoupila do závodních novin Elektrosila.

40.

Irena Gurská (1902–1987) – blízká přítelkyně rodiny Berggolcových. Roku 1927 byla osvobozena z polského vězení organizací MOPR (Mezinárodní organizace pomoci revolucionářům). V roce 1939 jí byl odebrán pas a bylo jí přikázáno, aby se vrátila do rodné země, kde ji opět čekalo vězení. Díky úsilí O. B. mohla Gurská zůstat v SSSR.

41.

M. S. Dovlatovová (1907–1975) – redaktorka a kamarádka O. B. (teta spisovatele S. Dovlatova).

42.

M. V. Troickij (1904–1941) – básník, v té době redaktor časopisu Literaturnyj sovremennik. Zahynul u Leningradu.

43.

Báseň O. B. Alenuška, poprvé uveřejněná v knize Uzel.

44.

R. D. Messer (1905–1984) – kritik, konsultant Lenfilmu.

45.

S. Kara (Kara-Demur) (1911–1977) – kritik, scenárista. Pracoval ve studiu Lenfilm a v redakci časopisu Něva.

46.

Aluze na báseň M. Lermontova – Rozešli jsme se. (1837)... Tak opuštěný chrám je pořád chrám, svalená modla – pořád Bůh!

47.

S. A. Gerasimov (1906–1985) – sovětský filmový režisér. V té době se proslavil filmy Sedm statečných (1936), Učitel (1939), Maškaráda (1941).

48.

Román o tom, „jak jsme s ničím neměli slitování a sami sebe nešetřili v JEJÍM jménu (revoluce), jak jsme v ni věřili...“ 14. prosince 1938 mi při domovní prohlídce v době mého zatýkání zkonfiskovali koncept románu, který mi pak byl vrácen. Nakonec zůstal nedokončený.

49.

A. L. Ptuško (1900–1973) – slavný režisér, průkopník. Je tvůrcem animovaných filmů Nový Gulliver (1935) a Zlatý klíček (1939).

50.

Román Zastava, nepřeložen.

51.

Michail Zareckij – manžel I. Gurské, novinář se zaměřením na mezinárodní vztahy, neprávem odsouzen.

52.

M. M. Čumandrinová (1929–1969) – dcera M. F. Čumandrina.

53.

V originálu: Jak mohu pomoci?! Verše z nepřeložené básně F. Sologuba „V pole ne vidno ni zgi...“

54.

Ispytanie – cyklus „vězeňských“ básní O. B., nejsou přeloženy.

55.

V. I. Dmitrevskij (1908–1978) – spisovatel a kritik. V roce 1946 odsouzen na 15 let. Osvobozen roku 1956.

56.

V originálu: „Život, to je martyrium“. („Ó, nešťastný Homo sapiens, / život, to je martyrium.“) Citát z nepřeložené básně B. Pasternaka „Obrazec“ (česky „Vzor“).

57.

Hrdina románu Bratři Karamazovi F. M. Dostojevského.

Рђїлоha љ. 3 - Примечания

1.

Публикуется по: Звезда. 1990. № 5–6; Знамя. 1991. № 3; альманах «Апрель». 1991. Вып. IV; Берггольц О. Встреча. СПб., 2003.

2

Если забуду тебя, Иерусалим, забудь меня десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя... (Ветхий Завет. Псалтырь. Псалом 136, ст. 5–6).

3

13 декабря был выдан ордер на арест. Арестована 14 декабря (см. документ на второй вклейке).

4

Молчанов Н. С. (1910–1942) — муж Ольги Берггольц (1930–1942). Ему посвящены многие произведения О. Б. (подробнее о нем в публикации Н. А. Прозоровой, см. с. 257 наст. изд.).

5

Эти публикации не состоялись.

6

Сокамерницы О. Б. по тюрьме.

7

Следователь Иван Кудрявцев, вел первый допрос О. Б. См. документы на второй вклейке.

8

Неточная цитата из романа «Война и мир» Л. Н. Толстого.

9

Тычина П. Г. (1891–1967) — украинский поэт. «Живи, як Сонце, Сталін»: Из юбилейных статей к шестидесятилетию вождя // Литературная газета. 1939. 21 декабря.

10

Луговской В. А. (1901–1957) — русский советский поэт.

11

Герцен А. И. (1812–1870) — философ, публицист, писатель. Приводится цитата из «Былого и дум».

12

Гоглидзе С. А. (1901–1953) — начальник Управления НКВД ЛО в 1938–1941 гг. Организатор массовых репрессий. Расстрелян.

13

Киров С. М. (1886–1934) — с 1926 г. первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б), член Политбюро ЦК ВКП(б). Убит в Смольном Л. Николаевым выстрелом в затылок.

14

Эренбург И. Г. (1891–1967) — поэт, прозаик, публицист, автор знаковой книги «Оттепель» (1954–1956), литературных мемуаров «Люди, годы, жизнь» (1961–1965).

15

Прендель Ю. А. — врач-психиатр. Таня — его жена. Друзья О. Б.

16

Герман Ю. П. (1910–1967) — писатель, драматург, близкий друг О. Б. Ему посвящено стихотворение «Феодосия».

17

Дзержинский Ф. Э. (1877–1926) — председатель ВЧК-ОГПУ (1917–1926). Один из организаторов Красного террора (1918–1922). Ю. Герман написал о нем цикл рассказов «Железный Феликс».

18

Зонин А. И. (1901–1962) — прозаик-маринист, критик. В 1950 г. осужден на 10 лет лагерей. В 1955 г. реабилитирован. Второй муж В. Кетлинской.

19

Стихотворение Ф. И. Тютчева.

20

Чуковская Л. К. (1907–1996) — дочь К. И. Чуковского, редактор, писательница, мемуарист. Основные произведения: повесть «Софья Петровна», «Записки об Анне Ахматовой».

21

Наровчатов С. С. (1919–1981) — поэт. Ему посвящено стихотворение «Не сына, не младшего брата...».

22

Персонаж романа М. Е. Салтыкова (Щедрина) «Господа Головлевы», чье имя стало нарицательным.

23

Корнилов Б. П. (1907–1938) — поэт, автор поэм «Соль», «Моя Африка», неоконченной поэмы «Люся» и др. Первый муж О. Б., адресат нескольких ее стихотворений. Автор «Песни о встречном» (1932) и др. В 1937 г. арестован, расстрелян. Песни исполнялись после его гибели как народные.

24

Дочь Б. Корнилова и О. Берггольц (1928–1936).

25

Райх З. Н. (1894–1939) — известная актриса, первая жена С. Есенина, жена Вс. Мейерхольда, зверски убита после его ареста.

26

Мейерхольд Вс. Э. (1874–1940) — режиссер, актер, реформатор театра. В 1939 г. репрессирован, расстрелян.

27

Яблонский В. П. (1897–1941/42?/) — актер и режиссер 2-го МХАТа.

28

Максим Горький (Пешков А. М.) (1868–1936) — писатель, публицист, общественный деятель.

29

Авербах Л. Л. (1903–1937) — генеральный секретарь РАППа в 1928–1932 гг. С ним О. Б. была близко знакома. В апреле 1937 г. объявлен врагом народа, расстрелян.

30

Чумандрин М. Ф. (1895–1940) — писатель, погиб в советско-финляндской войне.

31

Эрлих В. И. (1902–1937) — поэт, друг С. Есенина, репрессирован.

32

Либединский Ю. Н. (1898–1959) — писатель, деятель РАППа, первый муж М. Ф. Берггольц (1912–2003), актрисы. Расстались в 1939 г.

33

К этому времени относится первоначальный замысел поэмы «Первороссийск».

34

До 1918 г. — Царское Село. С 1937 г. — г. Пушкин. Дом творчества писателей находился на Пролетарской ул., 6 (ныне Церковная ул.).

35

Толстой А. Н. (1883–1945) — граф, советский писатель, лауреат трех Сталинских премий.

36

Толстая Л. И. (1906–1982) — жена (четвертая) А. Н. Толстого.

37

«Лишенец» — гражданин СССР, лишенный избирательных и других прав по социальным признакам.

38

Строка из стихотворения А. Блока «Осенняя воля».

39

Пленкина Г. Г. (1911—?) — подруга О. Б. Знакомы с 1932 г., работы О. Б. на заводе «Электросила».

40

Гурская Ирэна (1902–1987) — близкий друг семьи Берггольц, в 1927 г. была вызволена МОПРОм (Международная организация помощи борцам революции) из польской тюрьмы. В 1939 г. у нее отобрали паспорт и приказали выехать на родину, где ее опять ждала тюрьма. О. Б. приложила усилия, чтобы Гурская осталась в СССР.

41

Довлатова М. С. (1907–1975) — редактор, друг О. Б. (родная тетка писателя С. Довлатова).

42

Троицкий М. В. (1904–1941) — поэт, тогда редактор журнала «Литературный современник». Погиб под Ленинградом.

43

Стихотворение О. Б. «Аленушка», впервые опубликованное в кн. «Узел».

44

Мессер Р. Д. (1905–1984) — критик, консультант «Ленфильма».

45

С. Кара (Кара-Дэмур) (1911–1977) — критик, сценарист. Работал на студии «Ленфильм» и в редакции журнала «Нева».

46

Аллюзия на стихотворение М. Лермонтова «Расстались мы, но твой портрет...» (1837). «...Так храм оставленный — все храм, / кумир поверженный — все Бог!»

47

Герасимов С. А. (1906–1985) — советский кинорежиссер. К тому времени прославился фильмами «Семеро смелых», «Учитель», «Маскарад».

48

Роман о том, «как мы ничего не щадили, как себя не щадили во имя Ее (революции. — Ред.), как верили ей...». 14 декабря 1938 г. наброски к роману были изъяты при обыске во время ареста О. Б., потом возвращены. Остался незавершенным.

49

Птушко А. Л. (1900–1973) — известный режиссер-новатор. Им поставлены мультфильмы «Новый Гулливер» и «Золотой ключик».

50

Роман «Застава».

51

Зарецкий Михаил — муж И. Гурской, журналист-международник, репрессирован.

52

Чумандрин М. М. (1929–1969) — дочь М. Ф. Чумандрин.

53

Строки из стихотворения Ф. Сологуба «В поле не видно ни зги...». Правильно: «Как помогу?!»

54

«Испытание» — цикл «тюремных» стихотворений О. Б.

55

Дмитревский В. И. (1908–1978) — писатель, критик. В 1946 г. осужден на 15 лет. В 1956 г. освобожден.

56

Ното sapiens (лат.) — человек разумный. Цитата из стихотворения Б. Пастернака «Образец». Правильно: «Существованье — гнет». («О, бедный Ното sapiens, / Существованье — гнет. / Былые годы за пояс / Один такой заткнет. / Все жили в сушь и впроголодь, / В борьбе ожесточась, / И никого не трогало, / Что чудо жизни — с час...»)

57

Герой романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».